

Л.М. Рейснер (1895—1926)

Казань — Сарапул

I

Ночные склянки, отбивающие часы на палубе миноносца, удивительно похожи на куранты Петропавловской крепости.

Но, вместо Невы, величаво отдыхающей, вместо тусклого гранита и золотых шпилей отчетливый звон осыпает необитаемые берега, чистые прихотливые воды Камы, островки затерянных деревень.

На мостике темно. Луна едва озаряет узкие, длинные, стремительные тела боевых судов. Поблескивают искры у труб, молочный дым склоняется к воде белесоватой гривой, и сами корабли, с их гордо приподнятым носом, кажутся среди диких просторов не последним словом культуры, но воинственными и неуловимыми морскими конями.

Редкое освещение: отдельные лица видны, и отчетливо видны, как днем.

Бесшумны и так же отчетливы позы. Эпические, годами воспитанные и потому непринужденные, как в балете, движения комендора, снимающего тяжелый брезент с орудия одним взмахом, как срывают покрывало с заколдованной и страшной головы.

Пляшущие руки сигнальщика с его красными флажками, красноречивые и лаконические, танцующие в ночном ветре условный, обрядовый танец приказаний и ответов.

И над сдержанной тревогой судов, готовящихся к бою, над отблеском раскаленной топки, спрятавшей свой дым и жар в глубине трюма, – высоко, выше мачты и мостика, среди слабо вздрагивающих рей, восходит зеленая утренняя звезда.

Давно пройден и остался за поворотом реки наш передовой пост, лодка под самым берегом, и командир Смоленского полка, Овчинников, спокойный, всегда неторопливый и твердый, отчетливый и немногословный – один из славной стаи Азинской 28-й дивизии, прошедшей с боем всю Россию, от холодной Камы до испепеленного желтыми ветрами Баку.

Где-то справа мелькнул и исчез лукавый огонек – может быть, белые, а может быть, один из отрядов Кожевникова, шаривший в глубоком тылу у белых и иногда совершенно неожиданно вылезавший навстречу нашей «Межени» из непролазной чащи кустарника, запутавшего обрывистый камский берег.

При первых лучах рассвета необычайно красота этих берегов. Кама возле Сарапула широкая, глубокая, течет среди желтых глинистых обрывов, двоится между островов, несет на маслянисто-гладкой поверхности отражение пихт – и так она вольна и так спокойна. Бесшумные миноносцы не нарушают заколдованный покой реки.

На мелях сотни лебедей расprostируют белые крылья, пронизанные поздним октябрьским солнцем. Мелкой дробной тучкой у самой воды несутся утки, и далеко над белой церковью парит и плавает орел. И хотя противоположный луговой берег занят неприятелем – ни одного выстрела не слышно из мелкорослых кустарников. Очевидно, нас не ждали в этих местах – и не успели приготовиться.

Из машинного люка до пояса выставляется закопченный и бледный моторист и, стирая с лица черноту и пот, с наслаждением вдыхает острый утренний воздух, за одну ночь ставший осенним и северным.

Лоцман на мостике, всклокоченный и крепкий, похожий в своих сединах и овчинном тулупе на лешего, пророчит ранний мороз.

«Снегом пахнет, воздух – снегом пахнет», – и опять молча отыскивает узкую дорогу кораблей среди предательской ряби отмелей, тумана и камней. За эту ночь пройдено больше ста верст, и вот вдали показался кружевной железнодорожный мост и белые макушки Сарапуля. Команда отдыхает, полощется возле крана, дразнит двух черных щенят, возвращенных с великой любовью среди пушечной пальбы и непрерывных походов.

Резкий крик наблюдателя:

– Люди на левом берегу, – и снова напряженное ожидание. Но те, на берегу, уже разглядели нас, и в воздухе радостно пляшут красные полотнища. И дальше, на берегу, и на мосту, и за песчаным прикрытием вспархивают и трепещут красные флажки. Малые фигуры пехотинцев в серых шинелях бегут по берегу, машут, кричат и перебрасывают на железные палубы миноносцев какие-то благословляющие приветствия.

Прошли мост, повернули левее, а за последним судном, идущим в стройной кильватерной колонне, уже трещит ружейная перестрелка. Это белые обстреливают охрану моста, сбежавшуюся посмотреть на пароход нашей флотилии.

В бинокль ясно видна набережная Сарапуля, занятого дивизией Азина, Сарапуля, со всех сторон обложенного белыми и наконец, благодаря приходу флотилии, соединенного с нижележащими армиями.

Подходим ближе. На крыше поплавка, на перилах, на дороге – красноармейцы, чуйки, платочки и бороды, и все это радостно изумленное, свое, дружеское.

Оркестр на пригорке гремит марсельезу, барабан, заглядевшись на корабли, образует брешь в мелодии, труба несется далеко впереди рассерженного дирижера, радостно играя громовыми переливами и не останавливаясь ни на чем, как конь, сбросивший всадника. Уже приняты концы, борт плавно примкнулся к пристани, матросы высыпали на берег, и пошли разговоры:

– Как же вы прорвались? Побили их корабли?

– И побили, отец, и в реку Белую загнали.

– Врешь.

– Да не вру.

Через толпу пробивается молодая еще женщина, вся в слезах. «Матроска», – говорят окружающие. И начинаются новые причитания. Плач матери и жены, пронзительный однообразный вопль: «Моего увели на барже, на барже стащили. Матросом был, как вы». Платочек мечется от одного моряка к другому, слепнет от слез, гладит шершавые рукава бушлатов, это последнее свое воспоминание. Да, жестокая штука война, гражданская, – ужасна. Сколько сознательного, интеллигентного, холодного зверства успели совершить отступающие враги.

Чистополь, Елабуга, Челны и Сарапуль – все эти местечки залиты кровью, скромные села вписаны в историю революции жгучими знаками. В одном месте сбрасывали в Каму жен и детей красноармейцев, и даже грудных пискунов не пощадили. В другом – на дороге до сих пор алеют запекшиеся лужи, и вокруг них великолепный румянец осенних кленов кажется следом избиения.

Жены и дети убитых не бегут за границу, не пишут потом мемуаров о сожжении старинной усадьбы с ее Рембрандтами и книгохранилищами или о неистовствах Чеки. Никто никогда не узнает, никто не раструбит на всю чувствительную Европу о тысячах солдат, расстрелянных на высоком камском берегу, зарытых течением в илистые мели, прибитых к нежилому берегу. Разве был день, – вспомните вы, бывшие на борту «Расторопного», «Прыткого» и «Ретивого», на батарее «Сережа», на «Ване-коммунисте», на всех наших, зашитых в железо, неуклюжих черепахах, – разве был хоть один день, когда мимо вашего борта не проходила эта молчаливая спина в шинели, этот солдатский затылок с такими редкими куцыми волосами (все после тифа) и танцующей по воде рукой, то всплывающей, то опущенной ко дну. Разве было хоть одно местечко на Каме, где бы не выли от боли в час вашего прихода, где бы на берегу, среди счастливых и обезумевших, которые так неумело (рабочие ведь не моряки) принимали ваши «чалки», не было десятка осиротелых баб и грязных, слабых и голодных детей рабочих. Помните этот вой, которого не могло заглушить даже лягание якорной цепи, даже яростный стук сердца, даже красный от натуги голос предисполкома, который еще издали за полверсты кричал вам, что Самара взята Красной.....

Между тем к первой женщине подошла вторая, совсем маленькая и старая. На ее лице те же шрамы горя. «Не плачь, расскажи толком». И мать рассказывает, но слова ее теряются в причитаниях, ничего нельзя понять.

А дело вот в чем: отступая, белые погрузили на баржу шестьсот человек наших и увезли – никто не знает куда, кажется, в Уфу, а может быть, и к Воткинскому заводу.

Через час пронзительная сирена собирает на пристань разошедшихся матросов, и командующий отдает новое приказание: флотилия идет вверх по реке на поиски баржи с заключенными. И, подгоняя команды, как-то особенно отчетливо повторяет: «Шестьсот человек, товарищи».

II

Они нас не ждали: окопы, проволочные заграждения, пикеты – все это оказалось неприкрытым со стороны реки и видно, как на блюдечке. Медленно скользя вдоль берега, миноносцы выбрали Удобное место, и комендоры отыскивают цель. В кают-компании полуоткрыт люк в пороховой погреб, и оттуда быстро передают наверх снаряды. Раздается команда:

– Залп. Из дула выплескивается огненная струя, с легким металлическим звоном падает пустая гильза, и через десять – пятнадцать секунд в бегущей цепи неприятеля подымается пепельно-серый и черный дымовой фонтан.

Управляющий огнем изменяет прицел:

– Два больше, один лево. Залп.

Вот и на «Ретивом» открыли огонь, и «Прочный» из кормового орудия зажег церковь.

Пользуясь всеобщим смятением, мы засветло будем в Гальянах (тридцать пять верст выше Сарапуля).

Еще один переход в десять верст, и мы у цели. Красные флаги спущены, решено всех взять врасплох, выдавая флотилию за белогвардейскую – адмирала Старка, которую с таким нетерпением до сих пор поджидали себе на помощь ижевцы. Из-за островка и поворота Камы суда полным ходом появляются перед пристанями Гальян, проходят село, расположенное на горе,

и выше его делают поворот, разворачиваются – маневр очень трудный на таком узком и мелком месте.

– Без приказаний не открывать огня, – передает сигнальщик с одного миноносца на другой.

Обстановка следующая: в двадцати-тридцати саженьях на берегу, возле церкви, ясно видно тяжелое шестидюймовое орудие. Дальше на пригорке много любопытных крестьян и среди них кучки вооруженных солдат. На колокольне второе орудие; быть может, пулемет. Под левым берегом баржа с десантом белогвардейцев. В кустах мелькают белые палатки лагеря, расстилается дымок походных кухонь, и, отдыхая, солдаты лежат на берегу, с любопытством следя за маневрами миноносцев. Посредине же реки, охраняемая караулом, целая плавучая могила, безмолвная и недвижимая.

Рупор с «Прыткого» вполголоса передает порядок действий на другие суда. «Ретивый» подходит к барже и, не выдавая себя, удостоверяется в присутствии драгоценного живого груза. «Прыткий» наводит орудия на шестидюймовую пушку, с тем чтобы разбить ее в упор при первом движении неприятеля, но одновременно наблюдает за пехотой.

Но как же снять с якоря баржу, как вытащить ее из узкой ловушки, образуемой мельями, островом и перекатом? К счастью, тут же у пристани дымит неприятельский буксир «Рассвет». Наш офицер в блестящей морской фуражке передает его капитану безапелляционное приказание.

– Именем командующего флотилией адмирала Старка приказываю вам подойти к барже с заключенными, взять ее на буксир и следовать за нами через реку Белую на Уфу.

Приученный белыми к беспрекословному повиновению, капитан «Рассвета» немедленно исполняет приказание: подходит к барже и берет ее на буксир. Бесконечно медленно тянутся эти минуты, пока неповоротливый пароход, шумно шлепая колесами-жабрами, подходит к барже, укрепляет тросы, дымит и разводит пары. Команда наша замерла, люди страшно бледны, верят и не смеют поверить этой сказке наяву, этой обреченной барже, такой близкой и еще бесконечно далекой. Шепотом спрашивают друг у друга:

– Ну что, двигается или нет? Да она не двигается.

Но «Рассвет», напуганный строгим окриком капитана, чудесно исполняет свою роль. На барже заметно движение. Сам караульный начальник и его команда, сложив винтовки, помогают выбирать якорь. И понемногу тяжелая громада выходит из равновесия, трудно разворачивается ее нос, натянутые канаты слабеют и снова тянут свою упрямую спутницу. «Прыткий» окончательно успокаивает смущенных тюремщиков.

– Именем командующего приказываю вам сохранять полное спокойствие, мы пойдем впереди и будем вас конвоировать.

– У нас мало дров, – пробуют возражать с «Рассвета».

– Ничего, по дороге погрузите, – отвечает комфлот, и миноносцы, не торопясь, чтобы не вызвать подозрения у наблюдающих с берега белогвардейцев, начинают отходить к Сарапулу.

А там, в трюме баржи, уже началась тревога: «Зачем везут, куда и кто». По отвратительному, грязному полу пробирается на корму один из заключенных, матрос. Там в толстой доске перочинным ножом проверчена дырка, единственный просвет, в который видно кусок неба и реки. Долго и внимательно наблюдает он за таинственными судами и их молчаливой

командой. Читая луч надежды на его лице или новое опасение, искаженные лица окружающих кажутся одним общим лицом, неживым и неподвижным.

– Да ведь они все одинаковые, серые, длинные. Белогвардейские или нет? Смотри внимательно, смотри скорее.

– Да нет.

– Что нет, черт тебя дери?

Наблюдатель сваливается с табуретки. :

– У них нет таких железных, это наши, это балтийские, на них матросы.

Но несчастные, три недели пробывшие в гнойном подвале, спавшие и евшие на собственных экскрементах, голые и завернутые в одни рогожи, не смеют поверить.

Уже в Сарапуле, когда на пристанях кричал и плакал приветствовавший их народ, когда матросы арестовали белогвардейский караул и, не смея спуститься в отвратительный трюм, вызывали из этой могилы заключенных, еще тогда отвечали проклятиями и стонами. Никто из четырехсот тридцати не верил в возможность спасения. Ведь вчера еще караульные выменивали корку хлеба и чайник на последнюю рубашку. Вчера на рассвете из общей камеры на семи штыках выволокли изорванные тела трех братьев Красноперовых и еще двадцать семь человек. Уже целые сутки в отверстие на потолке никто не бросал кусков хлеба (по $\frac{1}{4}$ на человека), единственной пищи, утолявшей голод в течение трех недель.

Перестали кормить, значит, уже не стоит тратить даже объедков на обреченное стадо, значит, ночью или в серый, бескровный утренний час придет конец для всех – конец еще неведомый, но бесконечно тяжкий. И вдруг привезли, открыли голубую и серебряную дыру в ночное небо и зовут всех наверх странными, страшно взволнованными голосами, и зовут каким именем – запрещенным, изгнанным – «товарищ». Не измена ли, не ловушка ли, новое ухищрение? И все-таки в слезах, ползком, один за другим, они воскресли из мертвых. Что тут творилось на палубе! Несколько китайцев, у которых никого нет в этой холодной стране, припали к ногам матроса и мычанием и какими-то возгласами на чуждом нам языке воздали почести и безмерную преданность братству людей, умирающих друг за друга.

Утром город и войска встречали заключенных. Тюрьму подвезли к берегу, опустили сходни на «Разина» – огромную железную баржу, вооруженную дальнобойными орудиями, и через живую стену моряков четыреста тридцать два шатающихся, обросших, бледных сошли на берег. Вереница рогож, колпаков, шапок, скрученных из соломы, придавали какой-то фантастический вид процессии выходцев с того света. И в толпе, еще потрясенной этим зрелищем, уже просыпается чудесный юмор.

– Это кто же вас так нарядил, товарищи?

– Смотрите, смотрите, это форма Учредительного собрания, – каждому по рогоже и по веревке на шею.

– Не наступай мне на сапог, видишь – пальцы торчат. – И выставляет вперед ногу, обернутую грязным тряпьем.

Еще приближаясь к берегу, голосами, пролежанными на гнилой соломе, они начали петь марсельезу. И пение это не прекращалось до самой площади.

Здесь представитель от заключенных приветствовал моряков Волжской флотилии, ее командующего и власть Советов. Раскольников на руках внесли в столовую, где были приготовлены горячая пища и чай. Неопишуемые лица, слова, слезы, когда целая семья, нашедшая отца, брата или сына, сидит возле

него, пока он обедает и рассказывает о плене, и потом, прощаясь, идет к товарищам-морякам благодарить за спасение.

В толпе матросов и солдат мелькают шитые золотом фуражки тех немногих офицеров, которые проделали весь трехмесячный поход от Казани до Сарапуля. Давно, я думаю, их не встречали с таким безграничным уважением, с такой братской любовью, как в этот день. И если есть между интеллигенцией и массами чудесное единство в духе, в подвиге и жертве, оно родилось, когда матери рабочих, их жены и дети благословляли матросов и офицеров за избавление от казни и мук их детей.

Известия. 1918. 16 ноября